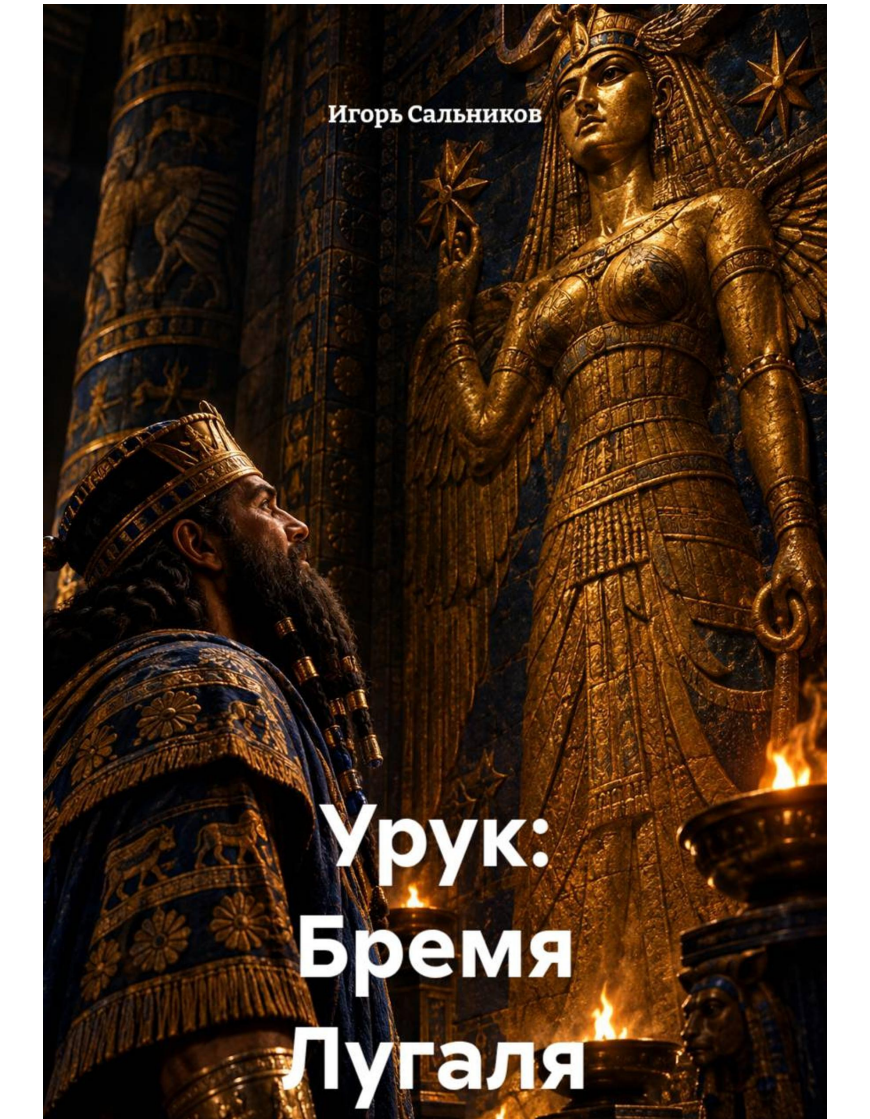




Игорь Сальников

Урук: Бремя Лугалья

Игорь Сальников

Урук: Бремя Лугаля

<https://litres.ru/74657037>

SelfPub; 2026

Аннотация

XXVII век до нашей эры. Рассвет человечества. Великий мегаполис Урук изнурен грандиозным строительством. Его правитель Гильгамеш — человек с силой бога и сердцем тирана — одержим идеей обуздать хаос. Возводя стены из обожженного кирпича, он не щадит ни свой народ, ни вековые традиции, вызывая ярость жречества и родового совета старейшин.

Но когда древние стихии посылают ему противовес — первобытного дикаря Энкиду, рожденного из степной грязи, — жестокое соперничество перерастает в великое братство. Им предстоит бросить вызов кровавому культу богини Иштар и перешагнуть грани дозволенного. Но сможет ли смертная плоть выдержать тяжесть божественного замысла?

В духе Мэри Рено и Лиона Фейхтвангера этот роман очищает древнейший эпос от сказочных наслоений, превращая его в глубокую историческую драму. Это масштабная хроника Бронзового века о рождении цивилизации, политических заговорах, геополитических войнах и экзистенциальном страхе человека перед лицом неотвратимой смерти.

Содержание

Глава 1 Великая стена и бремя тирана

4

Конец ознакомительного фрагмента.

29

Игорь Сальников

Урук: Бремя Лугаля

Глава 1 Великая стена и бремя тирана

*Осмотри стену, чьи венцы, как по
нити, Погляди на вал, что не знает
подобья, Прикоснись к порогам,
лежащим издревле... — «Эпос о
Гильгамеше»,
таблица первая, пер. И. М. Дьяконова*

Первый кирпич упал, когда тень стены ещё лежала на западной стороне, и Гильгамеш услышал его раньше, чем увидел: сухой стук, короткий, как удар палки по сундуку, потом крик — не громкий, скорее удивлённый, будто человек обнаружил у себя лишнюю руку. Царь шёл по гребню и считал не кирпичи, хотя кирпичи он тоже считал, а дни, которые ещё отделяли его от того утра, когда кладка сомкнётся над последними воротами и он сможет лечь, не слыша за спиной, как растёт незаконченное.

Он остановился не сразу, а сделал ещё три шага — ровно три, он запомнил, — и только потом повернул голову вниз, где у основания копошились люди, кто-то бежал, кто-то уже

стоял на коленях, а между ними лежал кирпич, расколотый надвое, с белой половиной клейма на изломе. Лестница была врезана в толщу стены и пахла сырой глиной и битумом; Гильгамеш спускался быстро, не глядя под ноги, и стражники отставали на полшага, а на полпути он услышал, как внизу кто-то сказал «держи», и это слово разозлило его сильнее, чем сам крик.

У подножия он увидел руку. Она лежала под кирпичом, и было непонятно, где кончается рука и начинается глина; пальцы ещё шевелились, но движения были не человеческие, а как у рыбы на песке. Кирпич был обожжённый, звонкий, правильный, и на нём стояло клеймо: половина имени, потому что вторая половина осталась на отбитом куске.

Нубанда, шедший за царем, сказал, что снимет ряд сам и что люди уже готовы, и в его голосе была та торопливая готовность, которая всегда означала, что он прикинул, кого поставит на место раненого.

— Я сам скажу, когда снимать, — ответил Гильгамеш и присел на корточки, поворачивая обломок к свету, чтобы разглядеть буквы, которые выбирал десять лет назад, когда заказывал форму и думал, что она красива.

— Там триста кирпичей, господин, и все обожжённые, — сказал молодой угула, осмелившись шагнуть вперёд, но не настолько, чтобы заслонить царю солнце.

Гильгамеш велел снять ряд и переложить заново, не повышая голоса, и люди взялись за рычаги и медные клинья,

и обожжённые кирпичи пошли вниз один за другим, и каждый падал с тем же сухим стуком, что и первый, только теперь этот стук ничего не значил. Он смотрел, как обнажается сердцевина — серая, мягкая, ещё влажная от раствора, — и думал о том, что соль в этой земле ест всё: обувь, кожу, обожжённое ребро. За две зимы трещина станет ртом, за три — дорогой для воды, а вода в фундаменте не спрашивает, кому принадлежит стена. Триста кирпичей, полдня кладки, день обжига и ещё один день на перевозку — всё это он посчитал прежде, чем успел пожалеть о них, и счёт успокоил его, как успокаивает любое действие, у которого есть цена.

К раненому он подошёл последним. Тот лежал в тени, которую бросали носилки; лицо у него было молодое, лет двадцати, борода росла клочьями, в ухе висела медная серьга в виде полумесяца, а пахло от него не потом, а ячменной пылью. Он пришёл с поля, как все они приходили с поля: сначала жатва, потом стена, потом снова жатва, если оставался.

Писец уже стоял рядом с табличкой под мышкой и стилем в руке; присев, он разгладил глину ладонью и приготовился писать, а угула тем временем объяснял, что паёк раненому положен за день, потому что день начался и человек работал, но за руку не платят, потому что рука не отдельная мера.

— За руку у нас не платят, господин, — сказал угула, и посмотрел на писца, и переступил с ноги на ногу.

Гильгамеш слышал этот ответ. Он мог бы приказать выдать увечному двойную долю, мог бы отправить его в хра-

мовую мастерскую, где такие руки ещё пригодны для плетения циновок, — он знал, что мог, и знал, что не сделает. Это было не горе: горе он ещё сумел бы отложить, как откладывают письмо до утра. Это было хуже: тонкая трещина в собственной кладке, которую не видно, но которая держит хуже целого.

Он велел принести воды, и воду принесли в конической чаше, и раненый пил жадно, давясь, и вода текла по подбородку, и кто-то вытер ему рот краем накидки. Гильгамеш смотрел на его горло, на то, как ходит кадык, и думал, что вот это горло ещё будет пить завтра, а через год, может быть, не будет, и что стена, которую он строит, не имеет к этому горлу никакого отношения.

Потом он встал и пошёл обратно к лестнице. Город лежал внизу, как тело, разрезанное каналами: слева дымила Эанна с амбарами и мастерскими, справа поднималась Куллаба, белая платформа Ану, и на ней, как кость в горле, торчал старый храм; между ними тянулись плоские крыши, слепленные из того же ила, что и стена, и над крышами стоял сизый дым, тянувшийся вверх без ветра. Дальше начиналась равнина — ячмень, финиковые рощи, болота, блеск воды, — и земля была плоской, как ладонь, а небо над ней — как опрокинутая чаша. В этой стране не было ни гор, ни леса, ни камня, и всё, что человек хотел оставить после себя, он должен был сделать из глины.

Стена была не защитой; защитой были люди и копья, ров,

канал и вовремя замеченный враг, а стена была письмом, которое он писал в будущее кирпичами вместо знаков. Полтора миллиона обожжённых уже лежали в кладке, четыре миллиона составляли весь панцирь, и при нынешнем обжиге оставалось три года, а он требовал один. Он не говорил «три года», он говорил «к следующей жатве», и писцы записывали «к следующей жатве», и никто не спорил вслух, потому что спорить с царем о сроке — всё равно что спорить с разливом о берегу.

У седьмых ворот нубанда догнал его и сказал, что в третьем ряду пошла трещина. Трещина была тонкая, как волос, но волос был чёрный: битум выступил из шва и блестел на солнце, будто кто-то провёл по кладке мокрым пальцем. Гильгамеш спросил, сколько кирпичей придётся вынуть, и нубанда ответил, что триста и что это уже второй ряд за утро, и по тому, как он держал руки, было видно, что он ждёт возражения.

Гильгамеш не стал возражать, а только положил ладонь на кирпич; кирпич был тёплый, но тепло было не его, а солнечное, и от этого становилось ещё яснее, что стена проживёт дольше. Он представил, как через сто лет чья-то рука ляжет на это место и не почувствует ничего; эта мысль была хуже смерти, потому что смерть хотя бы принадлежала ему, а пустота принадлежала всем.

— Запиши это в недостатчу, Ур-Шульпа, — сказал Гильгамеш, и писец опустил стиль на глину так медленно, будто

взвешивал каждую букву.

Писец заметил, что кирпичи целы и их можно переложить, и царь повторил, что в недостачу надо записать не кирпичи, а цену ровного ряда, и тогда писец перестал спорить. Гильгамеш пошёл дальше, к воротам, и не обернулся; за спиной снова застучали рычаги, и этот стук был похож на счёт, который никак не кончается.

Раненому казалось, что рука осталась внизу, а он сам уже поднялся и лежит отдельно, в тени, и смотрит в небо. Небо было белое, без единого облака, и в нём ничего не происходило; кто-то держал его за плечо, и пальцы были жёсткие, как сучья.

— Держи меня, а не руку, — сказал он, и голос сверху ответил, что держит, и пальцы на плече сжались сильнее.

Боль была не в руке. Рука уже не болела, она вообще перестала быть; боль стояла в горле, в животе, в коленях, и хотелось не кричать, а лечь ровнее, чтобы она нашла место и осталась там. Он попросил пить, потому что горло было суше, чем рука, и ему поднесли чашу; вода пахла илом и была тёплой, как кровь, но он пил и не мог напиться, и вкус глины на зубах был вкусом дома, двора, материнских рук, всего, что было до стены.

Потом пришёл писец; он был худой, с глиняными пальцами и вечной табличкой под мышкой, и, присев на корточки, спросил имя. Раненый назвал имя, и оно легло на глину рядом с чужими именами, которые уже никто не помнил. Пи-

сец повторил, провёл стилем по глине и спросил ещё раз — на всякий случай, потому что имена путаются, а недостача потом ищется годами.

Сверху донёсся голос царя: низкий, без злобы. Он говорил о ряде и о недостаче. Раненый повернул голову и увидел стену. Стена стояла над ним, как обрыв, и в её тени было холодно; он подумал, что за всю жизнь ни разу не видел её целиком и что теперь, пожалуй, не увидит. Муха села ему на губу, и он не стал её сгонять. Он закрыл глаза и начал считать шаги, которые остались до дома: от стены до канала, через мост, мимо печи, потом налево. На семнадцатом он сбился и начал снова.

К полудню дым над южной окраиной стоял столбом. Восемнадцать печей были вырыты в глине ровным рядом, и жар стелился низом, по земле, как пот; над каждой дрожало белое марево, и в этом мареве фигуры людей казались не целыми, а нарисованными. Пахло смолой, угаром и раскалённой глиной. Мальчишка мешал битум в котле; чёрная масса вспухала, лопалась пузырями, и каждый пузырь оставлял на поверхности след, похожий на глаз.

Гильгамеш пришёл пешком, без носилок. Работы не остановились: у печей не кланяются, у печей можно обжечься, пока кланяешься. Только мастер обжига вышел навстречу, вытирая руки о передник, и Ур-Шульпа уже стоял рядом, будто вырос из земли вместе с табличкой.

— Топлива хватит на сорок дней, если не пускать кедр на

обжиг, — сказал писец, и голос у него был такой, будто он извинялся за цифру.

— А кедр нужен на перекрытия, и его сто шестьдесят стволов.

Гильгамеш спросил про битум, и писец ответил, что его хватит на двадцать дней, если лить только в фундамент, и царь велел лить в фундамент, а швы замазать глиной.

— Глина не держит воду, господин, — сказал мастер обжига, и в его голосе не было спора, только усталость человека, который видел, как вода находит щель.

— Пока не пришла вода, она держит, — ответил Гильгамеш, и мастер опустил глаза, потому что это был ответ царя, а не ответ мастера.

Ур-Шульпа что-то черкнул на табличке. Он делал это быстро, мелкими знаками, и при этом шевелил губами, как будто читал написанное вслух; когда царь спросил про кедр, писец ответил, что в Эанне лежит сто двадцать стволов и ещё сорок на складе у причала, и что храм не даст ни одного, и что он, писец, не просит, а только записывает.

Мастер обжига кашлянул в кулак. Он был немолод, с обожжёнными до черноты бровями и руками, на которых не росла шерсть; он знал печи лучше, чем жрецы знали свои книги, и говорил о них так, как говорят о больном родственнике. Он сказал, что в третьей печи пошла трещина по ребру и что двести кирпичей придётся отбраковать, и царь велел смотреть ещё, и мастер ответил, что глина сырая и что если

мешать меньше воды, кирпич будет звонче, но сушить его придётся дольше.

— Тогда к жатве мы не успеем, — сказал мастер обжига, и вытер лоб тыльной стороной руки, оставив на коже чёрную полосу.

— Я не спрашиваю, сколько ты успеешь, — сказал царь, — я спрашиваю, сколько ты сделаешь, и это разные числа.

Мастер опустил голову и стал смотреть на свои обожжённые руки. Ур-Шульпа перестал шевелить губами и сказал, не поднимая глаз от таблички, что если записывать всех, кто должен, глина кончится раньше, чем лес; царь велел писать на бракованных, и писец заметил, что тогда у бракованных будет долг, а у целых — нет, и царь ответил, что целые кирпичи должны быть чистыми. Ур-Шульпа моргнул, но не улыбнулся: он никогда не улыбался при царе, потому что не знал, чем это кончится. Он только переложил табличку под другую руку и вытер стиль о полу накидки.

Гильгамеш снял с пояса печать. Она была из лазурита, тяжёлая, с отверстием по оси; он носил её на шнуре, и камень за годы отполировался о его бедро так, что стал гладким, как речной камень. Писец подал ему кусок влажной глины, размял большим пальцем, сделал площадку. Царь покатиł печать — медленно, ровно, чтобы оттиск лёг целиком.

На глине проступила лента. По ней шёл человек в сетчатой юбке, с бородой, уложенной в завитки; одной рукой он держал посох, другой вёл льва. За человеком стояли быки, за

быками — ладья с высоким носом, и всё это было маленькое, тесное, вырезанное так, что при повороте печати превращалось в рассказ без слов. Гильгамеш смотрел на оттиск дольше, чем нужно. Человек на печати был меньше его и красивее; у него было спокойное лицо, какого царь не помнил у себя даже в юности, и лев шёл за ним добровольно, без верёвки.

Он катнул ещё раз, сильнее. Лев потерял голову — глина поплыла, и на месте морды осталось пятно.

— Лев без головы тоже лев, — сказал Гильгамеш и бросил табличку на стол, чтобы никто не видел, как дрожит его рука.

Писец спросил, перекатать ли оттиск, и царь велел оставить, и тогда писец записал приказ отрядить людей в горы, рубить кедр. Он спросил, сколько человек отрядить; царь ответил, что сколько уведут, и писец записал это так же ровно, как записывал пайки и недостатки. Мастер обжига сказал, что горы далеко и что люди вернутся к разливу, а то и позже, и царь ответил, что стена ближе.

Мастер снова кашлянул и посмотрел на юг, где над равниной дрожало марево, и в его глазах было что-то, чего царь не любил: не страх, а знание. Он сказал, что в горах есть хозяин, что караванщики говорят про огни на перевалах и что вождя тех огней зовут Хумбаба.

Гильгамеш повторил имя, и оно легло на язык тяжело, с двумя закрытыми слогами, как камень, брошенный в воду: круги пошли, а дна не было.

— Огни остаются огнями, а кедр — кедром, — сказал он и пошёл к городу, и солнце стояло прямо над головой, и тень царя была короткой и бестолковой, как у любого человека в этот час.

Двор купца стоял в тени, которую давал навес из тростника, и Ур-Нанше, войдя, первым делом почувствовал не запах еды, а запах мокрой пыли, которой полили землю, чтобы она не поднималась в жару. Он пришёл с пустыми руками, без ткани, без масла, без серебра, и это заметили раньше, чем его лицо: старый жрец Ану, который должен был благословлять, принёс с собой только собственную сухость.

Купец встретил его у порога и взял под локоть, как берут старика, которому не доверяют идти одному, хотя на самом деле он держал его крепче, чем следовало, и в этом пожатии было больше страха, чем почтения. Дом был полон, и это было видно по тому, как тесно сидели люди: под навесом родственники, двое торговцев из Ура, писец с чужой печатью на шнура, женщины у стены, дети, которым велели молчать и которые молчали до первого куска; в котле варилась рыба с луком, на циновке лежали лепёшки, финики, сыр, и в больших сосудах стояло пиво с соломинками, и над краем одного сосуда вилась пена.

Невеста сидела за занавесью, и видно было только её руку, лежащую на колене, да край белой шерстяной накидки. Жених стоял у столба, молодой, с чистыми руками, в новой юбке, которую ему, наверное, сшили к этому дню; он смотрел

не на дверь, а на занавесь, и по тому, как он держал плечи, Ур-Нанше понял, что юноша репетировал своё счастье и не знает, что делать, когда оно начнётся.

Сам Ур-Нанше пришёл не ради девушки и не ради пива. Весной, когда ячмень ещё стоял зелёным, он обещал купцу полосу храмовой земли у старого канала — не навечно, на три урожая, — и взял за это зерно, которое пошло на пайки людям у восточных ворот. Теперь царь забирал кедр, а вслед за кедром мог забрать и землю, и старик пришёл посмотреть, заговорит ли купец первым. Купец не заговорил, а только подкладывал гостям лучшие куски и обходил Ур-Нанше взглядом, как обходят яму, которую сам выкопал.

Царя никто не объявлял, и он вошёл во двор между двумя стражниками, и разговор не оборвался, а стал тише, будто люди продолжали говорить только для того, чтобы не слышать собственного молчания. Гильгамеш был в простой шерстяной юбке, без золота и без лазурита, и от этого казался ещё выше; он посмотрел на стол, на сосуды с пивом, на тень от навеса, но на занавесь не посмотрел ни разу, и Ур-Нанше отметил это прежде, чем успел осудить.

Купец поднёс ему чашу. Царь взял её, подержал, но пить не стал; он поставил чашу на край стола так, что она осталась стоять между ним и хозяином, и в этом жесте было больше власти, чем в любом крике. Он сказал, что дом хорош, что пиво пахнет полбой и что он рад видеть старейшину Ану за одним столом с торговыми людьми, и Ур-Нанше поклонил-

ся, хотя прекрасно понимал, что это не приветствие, а счёт.

— По какому праву ты берёшь её сегодня, а не завтра? — спросил жених, и его рука сжала край чаши так, что побелели костяшки.

Гильгамеш повернулся к нему медленно, без злобы, и ответил, что берёт не то, что куплено, а то, что положено царю, и что так делали цари до него, и что если юноша хочет оспорить обычай, пусть оспорит его перед старейшинами, а не перед невестой. Жених открыл рот, но купец успел положить ему руку на плечо, и рот закрылся, и Ур-Нанше увидел, как в глазах юноши что-то погасло — не гнев, а надежда, которая ещё утром казалась ему долгом.

Занавесь отодвинулась. Невеста вышла сама, босая, с браслетами на запястьях, и остановилась между мужчинами так, будто выбирала не жениха и не царя, а расстояние. Она была не красивее других, но в её лице было что-то, чего Ур-Нанше давно не видел у женщин в Уруке: она не боялась смотреть.

— Ты возьмёшь меня, а потом что будет со мной? — спросила она, и голос у неё был ровный, сухой, как тростник.

— Потом будет стена, а ты будешь жить под ней, — сказал Гильгамеш, и во дворе стало так тихо, что слышно было, как воет собака за воротами.

Он взял её за запястье. Не потянул, не сжал, просто взял, как берут вещь, в которой уверены, и повёл к выходу; она шла сама, не оглядываясь, и это было хуже слёз. У порога

она остановилась, взяла со стола медную чашу, в которой ей поднесли пиво, и плюнула в неё — коротко, точно, без театра. Плевок упал в пиво, и пена на поверхности лопнула.

Двор молчал, и в этом молчании было слышно, как кто-то из женщин охнул, а кто-то засмеялся слишком громко и осекся; купец смотрел на чашу, как смотрят на недостатку, которую нельзя записать. Гильгамеш взял чашу из её рук, вытер край большим пальцем и выпил. Он пил долго, до дна, и Ур-Нанше видел, как ходит его кадык, и думал, что этот человек сейчас глотает не пиво, а чужой плевок, и делает это при всех, потому что иначе плевок останется на нём.

— Пиво у тебя хорошее, купец, — сказал царь и поставил пустую чашу на стол.

Тогда засмеялись все, кроме невесты и Ур-Нанше; смех был короткий, торопливый, как будто люди спешили засвидетельствовать, что ничего не произошло. Царь вышел, уводя девушку, и стража вышла за ним, и во дворе снова стало жарко и тесно.

Ур-Нанше остался сидеть, глядя на пустую чашу, и чувствовал на языке вкус пива, хотя не пил; запах хны, разогретой на ладонях невесты, смешался с запахом рыбы и мокрой пыли, и на одно мгновение, короткое, как удар сердца, он увидел руки своей жены, которые она складывала на коленях точно так же, и слышал её голос, говоривший, что старики не должны мешать молодым. Он тряхнул головой и спрятал руки в рукава, потому что они дрожали.

Жених всё ещё стоял у столба. Из его сжатой руки на глину капала кровь — чаша треснула, а он не замечал; купец наконец увидел это и позвал женщину с тряпкой, и та побежала, и все снова задвигались, и двор вернулся к своему обычному шуму. Ур-Нанше встал и не сказал купцу ни слова о земле, ни слова о зерне, ни слова о том, что видел; он только поклонился хозяину и вышел в переулок, где пахло битумом и где мальчишки играли черепками.

К сумеркам его ждали в Эанне. Он шёл медленно, опираясь на палку, и думал о том, что царь взял девушку не силой, а тем, что все вовремя отводят глаза, и что это держится на таких, как он, стариках. Эта мысль была не новой, но сегодня она почему-то отдавала во рту горечью, сильнее пива.

В Эанне пахло можжевельником и мокрой глиной, и этот запах был старше самого храма: им пропитались циновки, стены, одежда жрецов, и даже пиво в больших сосудах отдавало немного дымом. Совет собрался в боковом дворе, где с одной стороны была стена с мозаикой из глиняных конусов — красных, чёрных, белых, — а с другой стояли низкие скамьи и жаровня, и в её свете лица казались вырезанными из дерева.

Гильгамеш пришёл последним и не сел, а остался стоять у столба, и это сразу изменило расстояние между ним и старейшинами: они сидели, он возвышался, и всем приходилось смотреть вверх. Ур-Нанше пришёл с пылью на сандалиях и с тем выражением, с каким человек входит в дом, где его ждут

не для радости. Лугаль-Туда сидел, раздвинув колени, в волчьей шкуре на плечах, и его изуродованная рука лежала на колене, как отдельный предмет. Нин-Кугал устроилась ближе всех к жаровне, и золотая подвеска на её груди ловила свет. Ур-Шульпа держал табличку так, будто она была щитом. Нинсун сидела в тени у стены, и её лица почти не было видно.

— Считай, — сказал Гильгамеш, и писец начал.

Он читал ровно, без выражения, и от этого цифры становились ещё страшнее. Падёж: двести овец и сорок волов за десять дней, и болезнь идёт с востока, от болот. Канал: две трети вычищено, дальше вода стоит, и люди не успеют до разлива, если не снять работников со стены. Жалобы: семнадцать, из них три о потраве, две о долгах, одна об увечье, остальные — о земле. Писец перевернул табличку, посмотрел на обратную сторону и добавил, что недостача в овцах, но излишек в жалобах, и что он записал и то, и другое.

— Колодцы не dokonчены, господин, и люди устали, — сказал Ур-Нанше, и его голос был тише, чем обычно, но в нём была та твёрдость, которая берётся не из силы, а из возраста.

— Они получают хлеб, а колодцы dokonчат к разливу, — ответил Гильгамеш, и в его голосе не было ни угрозы, ни обещания, только порядок работ.

— А если хлеба не будет к разливу? — спросил старик, и его слепой глаз блеснул в свете жаровни, как мокрый камень.

— Тогда они придут ко мне, и я скажу им то же, что говорю тебе, — ответил царь, и Ур-Нанше опустил голову, потому что этот ответ был честным и от этого хуже.

Лугаль-Туда заговорил, не поднимая глаз от жаровни. Он сказал, что если остановить стройку на месяц, город этого не забудет, что люди не железные и что стена, сложенная из мёртвых, стоит не крепче стены из сырца. Он говорил коротко, как человек, который привык, что его слова стоят дорого, и в его голосе была обида, старая, как шрам через лоб.

— Город забудет через год, а стена будет стоять, — ответил Гильгамеш, и Лугаль-Туда усмехнулся, но ничего не сказал.

Тогда заговорила Нин-Кугал, и её голос был мягче, чем у всех, кто говорил до неё. Она сказала, что храм даст кедр, если царь даст слово храму, и что слово царя стоит дороже сотни стволов, и что храм умеет ждать, потому что у храма есть календарь. Она улыбнулась, и в этой улыбке было столько же тепла, сколько в лезвии, которое держат за обух.

— Царь дал слово стене, а храм пусть даст кедр, — ответил Гильгамеш, и жрица склонила голову, будто записала его слова на память.

Ур-Нанше выпрямился и сказал, что они связаны словом, и что слово это дано было не только стене, и что если царь заберёт кедр, храм не станет молиться громче, но люди станут слушать тише. Он говорил формулами, как всегда, но сегодня формулы были не щитом, а обвинением, и все это

поняли, кроме, может быть, самого старика.

— Слово дал я, и я же его держу, — ответил Гильгамеш, и в его голосе впервые за вечер появилась злость, ровная, как битум, который плавится медленно и густо.

Нин-Кугал сказала, что боги не любят каменных молитв, и что если царь хочет, чтобы город спал спокойно, пусть позволит старейшинам подняться на крышу и позвать Ану и Ару-ру, и пусть сам послушает, что они ответят. Она сказала это мягко, почти ласково, и именно поэтому это было опаснее любого требования.

— Боги любят законченное, жрица, и в этом их главное отличие от людей, — ответил царь, и жрица улыбнулась ещё мягче.

Гильгамеш обвёл взглядом совет и увидел старика, который боялся богов и ещё больше боялся войны; увидел воина, который боялся новой крови; увидел жрицу, которая хотела власти храма и не скрывала этого достаточно хорошо; увидел писца, который хотел только одного — чтобы его табличка сошлась. И он увидел мать, сидевшую в тени, и её молчание было тяжелее всех слов, потому что она молчала не от страха, а от расчёта.

— Молитесь, — сказал он наконец. — На рассвете, на крыше. Я послушаю.

Старейшины переглянулись, и Ур-Нанше хотел что-то добавить, но закашлялся, и кашель был долгий, сухой, с тем свистом в груди, который слышишь у людей, переживших не

одну зиму. Нин-Кугал поднялась первой; уходя, она ещё раз посмотрела на царя, и в её взгляде не было торжества, только терпение.

Гильгамеш вышел во двор, и небо над Эанной было уже тёмным, и первые звёзды стояли так низко, будто их можно было снять рукой. Он шёл к дому матери и чувствовал, как за повязкой лежит холодная лазурная печать, и как под ногтями осталась глина от оттиска, и как где-то за стеной, в тростнике, ветер шевелит сухие стебли с тем же звуком, с каким шевелится что-то живое.

Дом матери стоял в стороне от дворца, за низкой стеной, и во дворе росла старая финиковая пальма, которую посадили ещё при Лугальбанде. Гильгамеш оставил стражу у ворот и вошёл один. В комнате горела одна лампа, и её свет не доходил до углов, так что стены казались ближе, чем были.

Нинсун сидела на циновке перед низким столом. Перед ней лежал ком влажной глины, и её пальцы уже начали что-то лепить — не фигурку, а только форму, в которой ещё не было лица. Она не встала, а только посмотрела на сына так, как смотрят на человека, который входит не в первый и не в последний раз, и сказала, что он не спит.

— Стена не даёт, — ответил Гильгамеш и сел напротив, не снимая сандалий.

Она сказала, что стена не заменит сына. Он ответил, что сын не заменит стены, и она не стала спорить, а только подвинула к нему чашу с водой. Вода была холодная, с запахом

глиняного сосуда, и он выпил её всю, хотя не хотел пить.

— Расскажи сон, — сказала она, и это было не приглашение, а приказ, произнесённый тихо.

Он рассказал, и ему снилось, что над Уруком стоит звезда, не больше ячменного зерна, и что весь город вышел смотреть на неё. Потом звезда упала, но не вспыхнула и не рассыпалась; она легла на крыши, как ложится на воду брошенный камень, и крыши просели под ней, и люди побежали, и никто не кричал. Во сне он стоял на стене и видел, как небо стало ближе, будто кто-то опустил его на город, и в этом небе не было ни одного бога.

Потом он оказался у порога своего дома. У порога лежал топор. Топор был большой, с двойным лезвием, и толпа стояла вокруг и не могла его поднять. Он взял топор одной рукой. Топор был лёгкий, как тростник, но тёплый, и в нём стучала кровь, и он понял во сне, что это не топор, а кто-то живой, свернувшийся у порога. Он проснулся с онемевшей рукой. Рука была та, на которой шрам от старого топора, и он долго не мог разжать пальцы.

Нинсун слушала, не перебивая, и её пальцы продолжали мять глину, и в комнате было слышно, как под ними мягко чвакает влажная земля. Когда он замолчал, она сказала, что звезда — это не война, и что топор — это не топор.

— Тебе будет равный, и он будет сильнее тебя, потому что он не будет бояться того, чего боишься ты, — сказала Нинсун, и её голос был ровным, как глина под её ладонью.

— Мне не нужен равный, мать, мне нужна стена, которая переживёт и его, и меня, — ответил Гильгамеш, и в его голосе была не злость, а усталость человека, который слишком долго говорит одно и то же разным людям.

— Стена не ответит тебе, когда ты позовёшь её ночью, — сказала она.

— Тогда я буду считать кирпичи и не стану звать, — ответил он.

Она подняла на него глаза. В свете лампы было видно, как потемнели её веки и как глубоко легли морщины у рта; лазурная бусина на повязке казалась чёрной. Она сказала, что он боится не смерти, а пустоты, и что пустота не приходит после смерти, потому что после смерти уже нет ни места, ни времени, а приходит она при жизни, когда человек остаётся один в комнате и слышит только собственный счёт.

Он не ответил, а только смотрел на её руки, на глину под ногтями, на то, как она лепит что-то, чего ещё не назвала, и думал, что мать всегда знала о нём больше, чем он хотел, и что это было единственное знание, которого он не мог отнять.

— Я считаю кирпичи, чтобы не считать вдохи, — сказал он наконец. — Пока я считаю, я знаю, что ещё жив.

Она спросила, сколько он насчитал. Он ответил, что полтора миллиона, и что этого хватит, чтобы не спать ещё три года. Она спросила, сколько вдохов он сделал за сегодня, и он не ответил, потому что не знал, и потому что вопрос был

не о счёте.

Потом он спросил про отца. Он спросил, умел ли Лугальбанда считать, и она ответила, что Лугальбанда умел молчать. Он сказал, что это не ответ, и она сказала, что это ответ, которого он сегодня не получит. Она не отвела глаз, и он понял, что за её молчанием стоит что-то, чего он не сможет достать ни силой, ни лаской, и что она держит это молчание так же крепко, как он держит стену.

На столе стояла глиняная фигурка. Она была ещё мягкая, без лица, с широкими плечами и короткой шеей; Нинсун лепила её всё время, пока они говорили, и теперь поставила сушиться у края лампы. Он спросил, кто это. Она ответила, что пока никто.

— Зачем? — спросил он.

— Чтобы руки помнили, — сказала она, и в этом ответе было больше, чем он хотел знать.

Он встал, и у двери она окликнула его и велела не считать сегодня, и он не ответил, потому что уже начал.

Ночь была прохладной, и над крышами висела пыль, и в этой пыли стояли звёзды, и одна из них, самая светлая, была звездой Инанны. Он посмотрел на неё и подумал, что если равный придёт, то он придёт не оттуда, а из степи, где нет ни стен, ни счёта, и что мать, может быть, права, а может быть, просто устала от его правоты.

Перед первым светом Нинсун поднялась на крышу Эанны. Ступени были стёрты в середине, и она шла медленно,

держась за стену; наверху ветер был сильнее и пах не илом, а холодной пылью. Внизу, во дворе, уже стояли люди с лампами. Огоньки дрожали и гасли, и в их свете лица казались меньше, чем днём.

Ур-Нанше стоял у края кровли, подняв руки. Его голос был сухой и тонкий, и в нём слышался кашель, который он старался не выпускать наружу. Нин-Кугал стояла рядом в белой накидке, и её голос был выше и чище, и толпа отвечала ей охотнее, потому что люди всегда отвечают красоте быстрее, чем старости.

— Ану, небо, услышь нас, — говорил Ур-Нанше. — Ару-ру, мать, услышь нас. Дай городу хлеб, дай людям силу, дай стене стоять.

Толпа повторяла за ним, и слова были старые, затёртые, как ступени; Нинсун знала их с детства и знала, что они ничего не меняют, но люди держались за них, потому что без них оставалась только темнота. Она стояла в стороне, у глиняного парапета, и не поднимала рук.

Она думала о сыне, который не пришёл на молитву, хотя обещал послушать; он, наверное, стоял сейчас на стене или сидел в своей комнате и считал кирпичи, и это было его способом молиться. Она думала о фигурке, которая сохла у лампы, и о том, что руки иногда знают больше головы, и что она слепила широкие плечи прежде, чем поняла, кого лепит.

Небо на востоке стало серым. Потом серость прошла, и появилась полоса, похожая на старую медь. Ур-Нанше за-

молчал, и Нин-Кугал ещё тянула последнее слово, но и она замолчала, и во дворе стало тихо, и все смотрели на восток, где светало.

Небо не отвечало, и Нинсун ждала ответа не потому, что верила в него, а потому, что знала цену ожиданию: пока люди ждут, они не бунтуют. Она смотрела на их поднятые лица и видела, что одни молятся, другие считают, сколько ещё стоять, а третьи уже думают о хлебе.

Снизу, от стены, донёсся женский крик. Он был короткий и высокий, как крик птицы, и оборвался на середине. Потом закричала другая женщина, и ещё одна, и стало ясно, что человек с разбитой рукой умер к утру, как умирают все, у кого хватает сил дожить до рассвета.

Нинсун подозвала служанку и велела отнести в дом умершего масло и ячмень, а также сказать, что царь не придёт на погребение, но пришлёт своего писца. Служанка спросила, сколько ячменя, и Нинсун назвала меру, и подумала, что мёртвые дешевле живых, и что эта мысль не нова и не её.

Ветер усилился и шёл с юга, сухой, тёплый, и нёс пыль, и в этой пыли было что-то ещё, какой-то запах, которого не было раньше: не дым, не ил, а тёплая шерсть и трава. Нинсун повернула голову к стене. За стеной начинался тростник, и в предрассветной серости он казался морем, которое забыло, как шуметь.

И тогда за стеной завывли. Вой был длинный, низкий, не собачий и не львиный; он поднимался из тростника, как вода

поднимается в колодце, и в нём было столько тоски, что собаки во дворе замолчали, а люди перестали повторять слова молитвы. Вой оборвался, и наступила тишина, и в этой тишине стало слышно, как далеко, у самых ворот, скрипит несмазанное колесо.

Нинсун смотрела в тростник, и стебли раздвинулись — медленно, без ветра, — и на мгновение она увидела тень. Тень была огромная, выше человека, и она стояла на четырёх ногах, и рядом с ней стояли газели и не убегали. Потом тень поднялась, и в сером свете блеснули глаза, два глаза, слишком светлых для зверя и слишком спокойных для человека.

Она не отступила, а стояла у парапета и смотрела, и её руки сами нашли ком глины, который она принесла с собой, — тот самый, из которого она лепила фигурку. Глина была холодная и мягкая. Нинсун сжала её, и под пальцами осталась вмятина, похожая на открытый рот.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.